

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ

1904-1977

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

Евгения ГИНЗБУРГ

Крутой маршрут

Хроника времён культа личности

Часть 1

ФТМ

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г49

Гинзбург, Е.
Г49 Крутой маршрут. Хроника времён культа личности в 2 ч. / Е. Гинзбург. – М. : T8RUGRAM / Агентство ФТМ. – 632 с. – (Легендарные книги литагентства ФТМ).

ISBN 978-5-519-61640-9

Драматическое повествование о восемнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок потрясает своей беспощадной правдивостью, вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломили эти страшные испытания. Роман-автобиография журналистки Евгении Гинзбург (1904–1977) «Крутой маршрут» – документ эпохи, честно и беспощадно рассказывающий о сталинских репрессиях и о том, что помогало выжить в мире унижений, пыток, холода, голода и смерти.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
BIC FA
BISAC BIO006000

© T8RUGRAM, 2018
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»,
2018
© Текст. Е. Гинзбург,
наследники, 2018

ISBN 978-5-519-61640-9

О матери

Мне было три года, когда я вдруг ощутила доселе незнакомое: откуда-то из воздуха магаданского детдома возникло и сгустилось — то ли запахом, то ли на ощупь, а, может быть, я сразу увидела — и мгновенно поняла: мама! Надо мной наклонилась мама! Я это знала всеми своими чувствами и запомнила на всю жизнь. И где бы я с тех пор ни находилась, иногда и теперь рядом со мною что-то такое сгущается, и все мои чувства собираются в комок и явственно говорят мне о ее присутствии в моей жизни.

О том, что я приемыш, мама сказала мне лишь через пятнадцать лет, опасаясь, что мне станет известно об этом от кого-нибудь из читателей «Крутого маршрута», уже опубликованного к этому времени на Западе и быстро распространявшегося в самиздате. Мне книгу долго не показывали, очевидно, опасаясь новых репрессий, которые в случае моей осведомленности могли бы коснуться и меня. А удочерение происходило в страшном для мамы 1949 году, когда ей грозил новый срок.

Мама печалилась о том, что книгу опубликовали без ее ведома — не потому что боялась мести властей, а оттого, что в рукописи все упомянутые лица названы подлинными именами. Она вздыхала: «Вот эта девчушка, которая в Казани смотрела на меня влюбленными глазами, — что будет, если она узнает, что это по доносу ее отца меня...» — и она сокрушенно качала головой.

Помню еще, как огорчалась мама, когда А. Твардовский во время поездки в Италию, полагая, будто может защитить возникшую в советской литературе лагерную тему, начатую Солженицыным, сказал, что «Новый мир» не со-

бирается печатать книгу Евгении Гинзбург, потому что это «переперченное блюдо» (там были произнесены и еще какие-то малоприятные выражения).

«Он вернулся, — рассказывала мама, — заперся у себя на даче и который уже день по-черному пьет, бедняга!» Ни слова упрека, только жалость.

Не дело детей говорить о книгах своих родителей, я и не ставлю перед собой такую задачу. Есть масса отзывов — как солагерников, так и собратьев по ремеслу, литературоведов, друзей, противников, недоброжелателей, просто читателей. Ни спорить с кем-либо, ни отстаивать какую-либо позицию я не собираюсь, да и права не имею. Но мне и о ней самой, о Евгении Семеновне Гинзбург, очень трудно говорить. Могут подумать, что мне мешает благодарность приемной дочери. Нисколько! Я жила в семье и не знала, что эта семья мне подарена, и была уверена, что в этой семье родилась. Как в любой семье, здесь бывало всякое. Боюсь, я доставила маме больше огорчений, чем радостей. Но вот какая странность: об Антоне Вальтере, моем приемном отце, я, кажется, могла бы написать подробно, вникая во все детали. О Евгении Гинзбург — нет! Почему? Не знаю, не спрашивайте.

Я могу сказать только то, что и так вычитывается из ее книги, что запечатлено некоторыми мемуаристами. Она была очень ярким человеком. Красавица, умница, с обостренным чувством юмора. Колоссальная эрудиция и огромная трудоспособность. Блестящая речь и женский магнетизм (не утраченный до самых последних дней ее жизни). Стихи она могла читать наизусть часами. Кстати, она и человека могла оценивать по тому признаку, как он относится к определенным стихотворениям. Помню, как однажды была шокирована одна либеральная компания, когда

она стала защищать литератора, служившего предметом постоянных нападок прогрессистов.

— Что вы, — горячо вступилась она, — мы с ним долго говорили о Владимире Соловьеве. Он помнит наизусть мое любимое:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

И она увлекалась и дочитывала стихи до конца:

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Я заметила, что эти стихи были вообще тестом, который она время от времени устраивала различным людям, особенно полужнакомым (вокруг нее всегда было множество народу, в том числе и ненадежного). С ее точки зрения, это был трудный экзамен. Вообще же, несмотря на весь ее суровый опыт, она была чрезвычайно открыта, доверчива и, я бы сказала, наивна.

Странно было бы, если б на этих страницах, ломясь в открытую дверь, я стала бы рассказывать о неимоверно большой роли, которую сыграла книга Евгении Гинзбург или ее личность в моей собственной жизни. Но мне все же было

чрезвычайно интересно узнать о том влиянии, которое было оказано книгой и ее автором на людей моего поколения, то есть на шестидесятников — людей, заставших краешек сталинской эры и перешедших в постбрежневскую, а теперь уже и в постельцинскую эпоху.

Я спросила об этом одного из тех, кого мама в 60-е годы называла своими молодыми друзьями (вокруг нее всегда было много молодежи). Вот, что он мне написал в письме, разрешив цитировать его без указания имени: «Впервые я увидел Евгению Семеновну в доме моих родителей, когда мне исполнилось лет 17—18. К этому времени у нее уже были закончены какие-то главы ее книги, и в тот же вечер отец разрешил мне почитать рукопись, названную „Седьмой вагон“.

Я читал и вспоминал лицо и интонации женщины, которую я только что видел, и соотносил ее образ с написанным. Я не мог даже догадываться о существовании ада, описанного в рукописи, — я читал такое впервые, но вот эта женщина с искрящимися юмором глазами этот ад пережила. И я отчетливо помню, что эмоциональная буря, вызванная во мне рукописью, была спровоцирована не в последнюю очередь эстетическими достоинствами повествования, а не только ее гуманитарной направленностью.

Евгения Семеновна рассказывала (об этом есть и в книге, но я ясно помню ее устные выразительные средства), что она может по глазам определить бывшего лагерника и часто огорошивает незнакомого человека вопросом о том, где тот отбывал срок, — и ни разу не ошиблась! Я пытался понять, что выдает узника лагерей, и подолгу вглядывался в ее глаза — они были удивительные! Во-первых, они всегда светились. Во-вторых, в них всегда была готовность к остроте — своей или чужой. В-третьих, в них всегда была печаль

— неизбежная и... таинственная, потому что поверх этой тоски всегда прыгали искорки, если не сказать: чертики.

Мне показалось, что я понял, как выглядит лагерный отпечаток в зрачках, и однажды, когда уже студентом МГУ я был на приеме у зубного врача, мне показалось, что я опознал в дантистке лагерницу. Мне был назначен новый прием на следующий день, и я отправился на него с огромным букетом цветов. В назначенный час кабинет был закрыт, и я стоял перед запертой дверью, когда, наконец, появилась сестра и сказала, что сегодня приема не будет: Анна Михайловна плохо себя почувствовала. «Вот, передайте», — сказал я, протягивая букет. Так и не пришлось мне проверить, точно ли я определил лагерника, но что дантистка была обаятельна, несмотря на бормашину в руке, я сумел догадаться, соотнося ее облик с образом Евгении Семеновны.

Ты знаешь, Тоня, я всегда помнил о Евгении Семеновне, то есть не просто хранил память о ней, а как бы все сопоставлял с нею, она дала мне в жизни масштаб, по сравнению с которым то, что могло считаться крупными неприятностями — доносы, подозрительность спецслужб и т. п. — становилось мелкими неурядицами.

Я обсуждал вопрос о степени воздействия «Крутого маршрута» со своими друзьями, которые не были, как я, знакомы с автором. Они, тем не менее, как и я, склонны видеть в ней свою воспитательницу. Переход из брежневского времени в наши дни подготовлен и облегчен людям «Крутым маршрутом». Как бы величествен (и пафосен!) ни был подвиг противостояния коммунистической системе, затеянный Солженицыным, он никогда не отодвинет светлого и доброжелательного взгляда, мерцающего со страниц книги Евгении Гинзбург. Доброта в искрающихся женских

глазах, может быть, могущественнее мрачной мужской раздражительной силы. (Да простит меня Евгения Семеновна, она всегда сердилась, если кто пытался сравнивать ее с Солженицыным. «Не путайте Божий дар с яичницей», — говорила она. Ей-Богу не путаю, Евгения Семеновна, теперь это уже вполне очевидно.) Евгения Семеновна навсегда научила меня, ты, Тоня, наверно, тоже затвердила эти слова: «Лишь одно на целом свете — только то, что сердце к сердцу говорит в живом привет».

Тоня, я не пишу мемуары, не хочу, а в случае с твоей мамой, может быть, и права не имею. Я нередко бывал в ее московском доме, я помню мнемонический прием, с помощью которого она советовала пользоваться ее телефонным номером, (не забыл до сих пор: АД-1-37-18). «АД один — это нетрудно; 37 — это год, когда меня посадили; 18 — столько лет я просидела». Но мои воспоминания — во-первых мелочи, которые уже есть в многочисленных мемуарах, а во-вторых, почти всегда и неизбежно героем повествования становится сам мемуарист. Дальнейшее — молчание».

Вот такое письмо от человека, с которым я почти чудом встретилась, не видев его более сорока лет.

Спасибо, мама!

2007 г.

Антонина АКСЕНОВА